



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### 1

Раковый корпус носил и номер тринадцать. Павел Николаевич Русанов никогда не был и не мог быть суеверен, но что-то опустилось в нём, когда в направлении ему написали: «тринадцатый корпус». Вот уж ума не хватило назвать тринадцатым какой-нибудь протезный или кишечный.

Однако во всей республике сейчас не могли ему помочь нигде, кроме этой клиники.

— Но ведь у меня — не рак, доктор? У меня ведь — не рак? — с надеждой спрашивал Павел Николаевич, слегка потрагивая на правой стороне шеи свою злую опухоль, растущую почти по дням, а снаружи всё так же обтянутую безобидной белой кожей.

— Да нет же, нет, конечно, — в десятый раз успокоила его доктор Донцова, размашистым почерком исписывая страницы в истории болезни. Когда она писала, она надевала очки — скруглённые четырёхугольные, как только прекращала писать — снимала их. Она была уже немолода, и вид у неё был бледный, очень усталый.

Это было ещё на амбулаторном приёме, несколько дней назад. Назначенные в раковый даже на амбулаторный приём больные уже не спали ночь. А Павлу

Николаевичу Донцова определила лечь, и как можно быстрее.

Не сама только болезнь, непредусмотренная, неподготовленная, налетевшая как шквал за две недели на беспечного счастливого человека, — но не меньше болезни угнетало теперь Павла Николаевича то, что приходилось ложиться в эту клинику на общих основаниях, как он лечился уже не помнил когда. Стали звонить — Евгению Семёновичу, и Шендяпину, и Ульмасбаеву, а те в свою очередь звонили, выясняли возможности, и нет ли в этой клинике спецпалаты, или нельзя хоть временно организовать маленькую комнату как спецпалату. Но по здешней тесноте не вышло ничего.

И единственное, о чём удалось договориться через главного врача, — что можно будет миновать приёмный покой, общую баню и переодевалку.

И на их голубеньком «москвичике» Юра подвёз отца и мать к самым ступенькам Тринадцатого корпуса.

Несмотря на морозец, две женщины в застиранных бумазейных халатах стояли на открытом каменном крыльце — ёжились, а стояли.

Начиная с этих неопрятных халатов всё было здесь для Павла Николаевича неприятно: слишком истёртый ногами цементный пол крыльца; тусклые ручки двери, захватанные руками больных; вестибюль ожидающих с облезлой краской пола, высокой оливковой панелью стен (оливковый цвет так и казался грязным) и большими рейчатыми скамьями, на которых не помещались и сидели на полу приехавшие издалека больные — узбеки в стёганных ватных халатах, старые узбечки в белых платках, а мо-

лодые — в лиловых, красно-зелёных, и все в сапогах и в галошах. Один русский парень лежал, занимая целую скамейку, в расстёгнутом, до полу свешенном пальто, сам истощавший, а с животом опухшим, и непрерывно кричал от боли. И эти его вопли оглушили Павла Николаевича и так задели, будто парень кричал не о себе, а о нём.

Павел Николаевич побледнел до губ, остановился и прошептал:

— Капа! Я здесь умру. Не надо. Вернёмся.

Капитолина Матвеевна взяла его за руку твёрдо и сжала:

— Пашенька! Куда же мы вернёмся?.. И что дальше?

— Ну, может быть, с Москвой ещё как-нибудь устроится...

Капитолина Матвеевна обратилась к мужу всей своей широкой головой, ещё уширенной пышными медными стриженными кудрями:

— Пашенька! Москва — это, может быть, ещё две недели, может быть, не удастся. Как можно ждать? Ведь каждое утро она больше!

Жена крепко сжимала его у кисти, передавая бодрость. В делах гражданских и служебных Павел Николаевич был неуклонен и сам — тем приятней и спокойней было ему в делах семейных всегда полагаться на жену: всё важное она решала быстро и верно.

А парень на скамейке раздирался-кричал!

— Может, врачи домой согласятся... Заплатим... — неуверенно отпирался Павел Николаевич.

— Пасик! — внушала жена, страдая вместе с мужем, — ты знаешь, я сама первая всегда за это: позвать человека и заплатить. Но мы же выяснили: эти

врачи не ходят, денег не берут. И у них аппаратура. Нельзя...

Павел Николаевич и сам понимал, что нельзя. Это он говорил только на всякий случай.

По уговору с главврачом онкологического диспансера их должна была ожидать старшая сестра в два часа дня вот здесь, у низа лестницы, по которой сейчас осторожно спускался больной на костылях. Но, конечно, старшей сестры на месте не было, и каморка её под лестницей была на замочке.

— Ни с кем нельзя договориться! — вспыхнула Капитолина Матвеевна. — За что им только зарплату платят!

Как была, объятая по плечам двумя чернобурками, Капитолина Матвеевна пошла по коридору, где написано было: «В верхней одежде вход воспрещён».

Павел Николаевич остался стоять в вестибюле. Боязливо, лёгким наклоном головы направо, он ощупывал свою опухоль между ключицей и челюстью. Такое было впечатление, что за полчаса — с тех пор как он дома в последний раз посмотрел на неё в зеркало, окутывая кашне, — за эти полчаса она будто ещё выросла. Павел Николаевич ощущал слабость и хотел бы сесть. Но скамьи казались грязными, и ещё надо было просить подвинуться какую-то бабу в платке с сальным мешком на полу между ног. Даже издали как бы не достигал до Павла Николаевича смрадный запах от этого мешка.

И когда только научится наше население ездить с чистыми, аккуратными чемоданами! (Впрочем, теперь, при опухоли, это уже было всё равно.)

Страдая от криков того парня и от всего, что видели глаза, и от всего, что входило через нос, Русанов

стоял, чуть прислонясь к выступу стены. Снаружи вошёл какой-то мужик, перед собой неся пол-литровую банку с наклейкой, почти полную жёлтой жидкостью. Банку он нёс не пряча, а гордо приподняв, как кружку с пивом, выстоянную в очереди. Перед самым Павлом Николаевичем, чуть не протягивая ему эту банку, мужик остановился, хотел спросить, но посмотрел на котиковую шапку и отвернулся, ища дальше, к больному на костылях:

— Милай! Куда это несть, а?

Безногий показал ему на дверь лаборатории.

Павла Николаевича просто тошнило.

Раскрылась опять наружная дверь — и в одном белом халате вошла сестра, не миловидная, слишком долголицая. Она сразу заметила Павла Николаевича, и догадалась, и подошла к нему.

— Простите, — сказала она через запышку, румяная до цвета накрашенных губ, так спешила. — Простите, пожалуйста! Вы давно меня ждёте? Там лекарства привезли, я принимаю.

Павел Николаевич хотел ответить едко, но сдержался. Уж он рад был, что ожидание кончилось. Подошёл, неся чемодан и сумку с продуктами, Юра — в одном костюме, без шапки, как правил машиной, — очень спокойный, с покачивающимся высоким светлым чубом.

— Пойдёмте! — вела старшая сестра к своей кладовке под лестницей. — Я знаю, Низамутдин Бахрамович мне говорил, вы будете в своём белье и привезли свою пижаму, только ещё не ношенную, правда?

— Из магазина.

— Это обязательно, иначе ведь нужна дезинфекция, вы понимаете? Вот здесь вы переоденетесь.

Она отворила фанерную дверь и зажгла свет. В камерке со скошенным потолком не было окна, а висело много графиков цветными карандашами.

Юра молча занёс туда чемодан, вышел, а Павел Николаевич вошёл переодеваться. Старшая сестра рванулась куда-то ещё за это время сходить, но тут подошла Капитолина Матвеевна:

— Девушка, вы что, так торопитесь?

— Да н-немножко...

— Как вас зовут?

— Мита.

— Странное какое имя. Вы не русская?

— Немка...

— Вы нас ждать заставили.

— Простите, пожалуйста. Я сейчас там принимаю...

— Так вот слушайте, Мита, я хочу, чтоб вы знали. Мой муж... заслуженный человек, очень ценный работник. Его зовут Павел Николаевич.

— Павел Николаевич, хорошо, я запомню.

— Понимаете, он и вообще привык к уходу, а сейчас у него такая серьёзная болезнь. Нельзя ли около него устроить дежурство постоянной сестры?

Озабоченное беспокойное лицо Миты ещё озабочилось. Она покачала головой:

— У нас, кроме операционных, на шестьдесят человек три дежурных сестры днём. А ночью две.

— Ну вот, видите! Тут умирать будешь, кричать — не подойдут.

— Почему вы так думаете? Ко всем подходят.

Ко «всем»!.. Если она говорила «ко всем», то что ей объяснять?

— К тому ж ваши сёстры меняются?

— Да, по двенадцать часов.

— Ужасно это обезличенное лечение!.. Я бы сама с дочерью сидела посменно! Я бы постоянную сиделку за свой счёт пригласила, мне говорят — и это нельзя...?

— Я думаю, это невозможно. Так никто ещё не делал. Да там в палате и стула негде поставить.

— Боже мой, воображаю, что это за палата! Ещё надо посмотреть эту палату! Сколько ж там коек?

— Девять. Да это хорошо, что сразу в палату. У нас новенькие лежат на лестницах, в коридорах.

— Девушка, я буду всё-таки просить, вы знаете своих людей, вам легче организовать. Договоритесь с сестрой или с санитаркой, чтобы к Павлу Николаевичу было внимание не казённое... — она уже расщёлкнула большой чёрный ридикюль и вытянула оттуда три пятидесятки.

Недалеко стоявший молчаливый сын отвернулся.

Мита отвела обе руки за спину.

— Нет, нет! Таких поручений...

— Но я же не вам даю! — совала ей в грудь растопыренные бумажки Капитолина Матвеевна. — Но раз нельзя это сделать в законном порядке... Я плачу за работу! А вас прошу только о любезности передать!

— Нет-нет, — холодела сестра. — У нас так не делают.

Со скрипом двери из каморки вышел Павел Николаевич в новенькой зелёно-коричневой пижаме и тёплых комнатных туфлях с меховой оторочкой. На его почти безволосой голове была новенькая малиновая тубетейка. Теперь, без зимнего воротника и кашне, особенно грозно выглядела его опухоль в кулак на боку шеи. Он и голову уже не держал ровно, а чуть набок.

Сын пошёл собрать в чемодан всё снятое. Спрятав деньги в ридикюль, жена с тревогой смотрела на мужа:

— Не замёрзнешь ли ты?.. Надо было тёплый халат тебе взять. Привезу. Да, здесь же шарфик, — она вынула из его кармана. — Обмотай, чтоб не простудить! — В чернобурках и в шубе она казалась втрое мощнее мужа. — Теперь иди в палату, устраивайся. Разложи продукты, осмотришься, продумай, что тебе нужно, я буду сидеть ждать. Спустишься, скажешь — к вечеру всё привезу.

Она не теряла головы, она всегда всё предусматривала. Она была настоящим товарищ по жизни. Павел Николаевич с благодарностью и страданием посмотрел на неё, потом на сына:

— Ну, так, значит, едешь, Юра?

— Вечером поезд, папа, — подошёл Юра. Он держался с отцом почтительно, но, как всегда, порыва у него не было никакого, сейчас вот — порыва разлуки с отцом, оставляемым в больнице. Он всё воспринимал погашенно.

— Так, сынок. Значит, это первая серьёзная командировка. Возьми сразу правильный тон. Никакого благодушия! Тебя благодушие губит! Всегда помни, что ты — не Юра Русанов, не частное лицо, ты — представитель за-ко-на, понимаешь?

Понимал Юра или нет, но Павлу Николаевичу трудно было сейчас найти более точные слова. Мита мялась и рвалась идти.

— Так я же подожду с мамой, — улыбался Юра. — Ты не прощайся, иди пока, пап.

— Вы дойдёте сами? — спросила Мита.

— Боже мой, человек еле стоит, неужели вы не можете довести его до койки? Сумку донести!

Павел Николаевич сиротливо посмотрел на своих, отклонил поддерживающую руку Миты и, крепко взявшись за перила, стал всходить. Сердце его забилося, и ещё не от подъёма совсем. Он всходил по ступенькам, как всходят на этот, на как его... ну, вроде трибуны, чтобы там, наверху, отдать голову.

Старшая сестра, опережая, взбежала вверх с его сумкой, там что-то крикнула Марии и, ещё прежде, чем Павел Николаевич прошёл первый марш, уже сбегала по лестнице другою стороною и из корпуса вон, показывая Капитолине Матвеевне, какая тут ждёт её мужа чуткость.

А Павел Николаевич медленно взошёл на лестничную площадку — широкую и глубокую, какие могут быть только в старинных зданиях. На этой средней площадке, ничуть не мешая движению, стояли две кровати с больными и ещё тумбочки при них. Один больной был плох, изнурён и сосал кислородную подушку.

Стараясь не смотреть на его безнадежное лицо, Русанов повернул и пошёл выше, глядя вверх. Но и в конце второго марша его не ждало ободрение. Там стояла сестра Мария. Ни улыбки, ни привета не излучало её смуглое иконописное лицо. Высокая, худая и плоская, она ждала его, как солдат, и сразу же пошла верхним вестибюлем, показывая куда. Отсюда было несколько дверей, и, только их не загораживая, ещё стояли кровати с больными. В беззаконном завороте под постоянно горящей настольной лампой стоял письменный столик сестры, её же процедурный столик, а рядом висел настенный шкаф, с матовым стеклом и красным крестом. Мимо этих столиков, ещё мимо кровати, и Мария указала длинной сухой рукой:

— Вторая от окна.

И уже торопилась уйти — неприятная черта общей больницы, не постоит, не поговорит.

Створки двери в палату были постоянно распахнуты, и всё же, переходя порог, Павел Николаевич ощутил влажно-спёртый смешанный, отчасти лекарственный запах — мучительный при его чуткости к запахам.

Койки стояли поперёк стен тесно, с узкими проходами по ширине тумбочек, и средний проход вдоль комнаты тоже был — двоим разминуться.

В этом проходе стоял коренастый, широкоплечий больной в розово-полосчатой пижаме. Толсто и туго была обмотана бинтами вся его шея — высоко, почти под мочки ушей. Белое сжимающее кольцо бинтов не оставляло ему свободы двигать тяжёлой тупой головой, буро заросшей.

Этот больной хрипло рассказывал другим, слушавшим с коек. При входе Русанова он повернулся к нему всем корпусом, с которым наглухо сливалась голова, посмотрел без участия и сказал:

— А вот — ещё один рачок.

Павел Николаевич не счёл нужным ответить на эту фамильярность. Он чувствовал, что и вся комната сейчас смотрит на него, но ему не хотелось ответно оглядывать этих случайных людей и даже здороваться с ними. Он лишь отодвигающим движением повёл рукою в воздухе, указывая бурому больному посторониться. Тот пропустил Павла Николаевича и опять так же всем корпусом с приклёпанной головой повернулся вослед.

— Слышь, браток, у тебя рак — *чего?* — спросил он нечистым голосом.

Павла Николаевича, уже дошедшего до своей койки, как заскобило от этого вопроса. Он поднял глаза на нахала, стараясь не выйти из себя (но всё-таки плечи его дёрнулись), и сказал с достоинством:

— Ни чего. У меня вообще не рак.

Бурый просопел и присудил на всю комнату:

— Ну и дурак! Если б не рак — разве б сюда положили?

## 2

В этот первый же вечер в палате за несколько часов Павлу Николаевичу стало жутко.

Твёрдый комок опухоли — неожиданной, ненужной, бессмысленной, никому не полезной — притащил его сюда, как крючок тащит рыбу, и бросил на эту железную койку — узкую, жалкую, со скрипящей сеткой, со скудным матрасиком. Стоило только переодеться под лестницей, проститься с родными и подняться в эту палату — как захлопнулась вся прежняя жизнь, а здесь выперла такая мерзкая, что от неё ещё жутче стало, чем от самой опухоли. Уже не выбрать было приятного, успокаивающего, на что смотреть, а надо было смотреть на восемь пришибленных существ, теперь ему как бы равных, — восемь больных в бело-розовых, сильно уже слинявших и поношенных пижамках, где залатанных, где надорванных, почти всем не по мерке. И уже не выбрать было, что слушать, а надо было слушать нудные разговоры этих сбродных людей, совсем не касавшиеся Павла Николаевича и неинтересные ему. Он охотно приказал бы им замолчать, и особенно этому надоедному буроволо-

сому с бинтовым охватом по шее и защемлённой головой — его просто Ефремом все звали, хотя был он не молод.

Но Ефрем никак не умирался, не ложился и из палаты никуда не уходил, а беспокойно похаживал средним проходом вдоль комнаты. Иногда он взмарщивался, перекашивался лицом, как от укола, брался за голову. Потом опять ходил. И, походив так, останавливался именно у кровати Русанова, переклонялся к нему через спинку всей своей негнущейся верхней половиной, выставлял широкое конопатое хмурое лицо и внушал:

— Теперь всё, профессор. Домой не вернёшься, понятно?

В палате было очень тепло, Павел Николаевич лежал свех одеяла в пижаме и тюбетейке. Он поправил очки с золочёным ободочком, посмотрел на Ефрема строго, как умел смотреть, и ответил:

— Я не понимаю, товарищ, чего вы от меня хотите? И зачем вы меня запугиваете? Я ведь вам вопросов не задаю.

Ефрем только фыркнул злобно:

— Да уж задавай не задавай, а домой не вернёшься. Очки вон можешь вернуть. Пижаму новую.

Сказав такую грубость, он выпрямил неповоротливое туловище и опять зашагал по проходу, нелёгкая его несла.

Павел Николаевич мог, конечно, оборвать его и поставить на место, но для этого он не находил в себе обычной воли: она упала и от слов обмотанного чёрта ещё опускалась. Нужна была поддержка, а его в яму сталкивали. В несколько часов Русанов как потерял всё положение своё, заслуги, планы на будущее —

и стал семью десятками килограммов тёплого белого тела, не знающего своего завтра.

Наверно, тоска отразилась на его лице, потому что в одну из следующих проходок Ефрем, став напротив, сказал уже миролюбиво:

— Если и попадёшь домой — ненадолго, а-апать сюда. Рак людей любит. Кого рак клешнёй схватит — то уж до смерти.

Не было сил у Павла Николаевича возражать — и Ефрем опять занялся ходить. Да и кому было в комнате его осадить! — все лежали какие-то прибитые или нерусские. По той стене, где из-за печного выступа помещалось только четыре койки, одна койка — прямо против русановской, ноги к ногам через проход, — была Ефремова, а на трёх остальных совсем были юнцы: простоватый смуглявый хлопец у печки, молодой узбек с костылём, а у окна — худой, как глист, и скрюченный на своей койке пожелтевший стонущий парень. В этом же ряду, где был Павел Николаевич, налево лежали два нацмена, потом у двери русский пацан, рослый, стриженный под машинку, сидел читал, а по другую руку на последней приоконной койке тоже сидел будто русский, но не обрадуешься такому соседству: морда у него была бандитская. Так он выглядел, наверно, от шрама (начинался шрам близ угла рта и переходил по низу левой щеки почти на шею); а может быть, от непричёсанных дыбливых чёрных волос, торчавших и вверх, и вбок; а может, вообще от грубого жёсткого выражения. Бандюга этот туда же, тянулся к культуре — дочитывал книгу.

Уже горел свет — две яркие лампы с потолка. За окнами стемнело. Ждали ужина.

— Вот тут старик есть один, — не унимался Ефрем, — он внизу лежит, операция ему завтра. Так ему ещё в сорок втором году рачок маленький вырезали и сказали — пустяки, иди гуляй. Понял? — Ефрем говорил будто бойко, а голос был такой, как самого бы резали. — Тринадцать лет прошло, он и забыл про этот диспансер, водку пил, баб трепал — нотный старик, увидишь. А сейчас рачище у него та-кой вырос! — Ефрем даже чмокнул от удовольствия. — Прямо со стола да как бы не в морг.

— Ну хорошо, довольно этих мрачных предсказаний! — отмахнулся и отвернулся Павел Николаевич и не узнал своего голоса: так неавторитетно, так жалобно он прозвучал.

А все молчали. Ещё нудьги нагонял этот исхудалый, всё вертящийся парень у окна в том ряду. Он сидел — не сидел, лежал — не лежал, скрючился, подбрав коленки к груди, и, никак не находя удобнее, перевалился головой уже не к подушке, а к изножью кровати. Он тихо-тихо стонал, гримасами и подёргиваниями выражая, как ему больно.

Павел Николаевич отвернулся и от него, спустил ноги в шлёпанцы и стал бессмысленно инспектировать свою тумбочку, открывая и закрывая то дверцу, где были густо сложены у него продукты, то верхний ящичек, где легли туалетные принадлежности и электробритва.

А Ефрем всё ходил, сложив руки в замок перед грудью, иногда вздрагивал от уколов и гудел своё, как припев, как по покойнику:

— Так что — сикиверное наше дело... очень сикиверное...

Лёгкий хлопок раздался за спиной Павла Николаевича. Он обернулся туда осторожно, потому что ка-

ждое шевеление шеи отдавалось болью, и увидел, что это его сосед, полубандит, хлопнул коркой прочтённой книги и вертел её в своих больших шершавых руках. Наискось по тёмно-синему переплёту, и такая же по корешку, шла тиснённая золотом и уже потускневшая роспись писателя. Чья это роспись, Павел Николаевич не разобрал, а спрашивать у такого типа не хотелось. Он придумал соседу прозвище — Оглоед. Очень подходило.

Оглоед угрюмыми глазищами смотрел на книгу и объявил беззастенчиво громко на всю комнату:

— Если б не Дёмка эту книгу в шкафу выбирал, так поверить бы нельзя, что нам её не подкинули.

— Чего — Дёмка? Какую книгу? — отозвался пацан от двери, читая своё.

— По всему городу шарь — пожалуй, нарочно такой не найдёшь. — Оглоед смотрел в широкий тупой затылок Ефрема (давно не стриженные, от неудобства его волосы налезали на повязку), потом в напряжённое лицо. — Ефрем! Хватит скулить. Возьми-ка вот книжку почитай.

Ефрем остановился, как бык, посмотрел мутно.

— А зачем — читать? Зачем, как все подохнем скоро?

Оглоед шевельнул шрамом:

— Вот потому и торопись, что скоро подохнем. На, на.

Он уже протягивал книгу Ефрему, но тот не шагнул:

— Много тут читать. Не хочу.

— Да ты неграмотный, что ли? — не очень-то и уговаривал Оглоед.

— Я — даже очень грамотный. Где мне нужно — я очень грамотный.

Оглоед пошарил за карандашом на подоконнике, открыл книгу сзади и, просматривая, кое-где поставил точки.

— Не бойсь, — бормотнул он, — тут рассказишки маленькие. Вот эти несколько — попробуй. Да надоел больно, скулишь. Почитай.

— А Ефрем ничего не боётся! — Он взял книгу и перешвырнул к себе на койку.

На одном костыле прохромал из двери молодой узбек Ахмаджан — один весёлый в комнате. Объявил:

— Ложки к бою!

И смуглявый у печки оживился:

— Вечерю несут, хлопцы!

Показалась раздатчица в белом халате, держа поднос выше плеча. Она перевела его перед себя и стала обходить койки. Все, кроме измученного парня у окна, зашевелились и разбирали тарелки. На каждого в палате приходилась тумбочка, и только у пацана Дёмки не было своей, а пополам с ширококостым казахом, у которого распух над губою неперебинтованный безобразный тёмно-бурый струп.

Не говоря о том, что Павлу Николаевичу и вообще сейчас было не до еды, даже до своей домашней, но один вид этого ужина — прямоугольной резиновой манной бабки с желейным жёлтым соусом и этой нечистой серой алюминиевой ложки с дважды перекрученным стеблом — только ещё раз горько напомнил ему, куда он попал и какую, может быть, сделал ошибку, согласясь на эту клинику.

А все, кроме стонущего парня, дружно принялись есть. Павел Николаевич не взял тарелку в руки, а постучал ноготком по её ребру, оглядываясь, кому б

её отдать. Одни сидели к нему боком, другие спиной, а тот хлопец у двери как раз видел его.

— Тебя как зовут? — спросил Павел Николаевич, не напрягая голоса (тот должен был сам услышать).

Стучали ложки, но хлопец понял, что обращаются к нему, и ответил готовно:

— Прощка... той, э-э-э... Прокофий Семёныч.

— Возьми.

— Та шо ж, можно... — Прощка подошёл, взял тарелку, кивнул благодарно.

А Павел Николаевич, ощущая жёсткий комок опухоли под челюстью, вдруг сообразил, что ведь он здесь был не из лёгких. Изо всех девяти только один был перевязан — Ефрем, и в таком месте как раз, где могли порезать и Павла Николаевича. И только у одного были сильные боли. И только у того здорового казаха через койку — тёмно-багровый струп. И вот — костыль у молодого узбека, да и то он лишь чуть на него приступал. А у остальных вовсе не было заметно снаружи никакой опухоли, никакого безобразия, они выглядели как здоровые люди. Особенно — Прощка, он был румян, как будто в доме отдыха, а не в больнице, и с большим аппетитом вылизывал сейчас тарелку. У Оглоеда хоть была серизна в лице, но двигался он свободно, разговаривал развязно, а на бабку так накинулся, что мелькнуло у Павла Николаевича — не симулянт ли он, пристроился на государственных харчах, благо в нашей стране больных кормят бесплатно.

А у Павла Николаевича ступок опухоли подавлял под голову, мешал поворачиваться, рос по часам, но врачи здесь не считали часов: от самого обеда и до ужина никто не смотрел Русанова и никакого лечение не было применено. А ведь доктор Донцова

заманила его сюда именно экстренным лечением. Значит, она совершенно безответственна и преступно халатна. Русанов же поверил ей и терял золотое время в этой тесной, затхлой, нечистой палате, вместо того чтобы созваниваться с Москвой и лететь туда.

И это сознание делаемой ошибки, обидного промедления, наложенное на его тоску от опухоли, так защемило сердце Павла Николаевича, что непереносимо было ему слышать что-нибудь, начиная с этого стука ложек по тарелкам, и видеть эти железные кровати, грубые одеяла, стены, лампы, людей. Ощущение было, что он попал в западню и до утра нельзя сделать никакого решительного шага.

Глубоко несчастный, он лёг и своим домашним полотенцем закрыл глаза от света и ото всего. Чтоб отвлечься, он стал перебирать дом, семью, чем они там могут сейчас заниматься. Юра уже в поезде. Его первая практическая инспекция. Очень важно правильно себя показать. Но Юра — не напористый, растяпа он, как бы не опозорился. Авиета — в Москве, на каникулах. Немножко развлечься, по театрам побегать, а главное — с целью деловой: присмотреться, как и что, может быть, завязать связи, ведь пятый курс, надо правильно сориентироваться в жизни. Авиета будет толковая журналистка, очень деловая, и, конечно, ей надо перебираться в Москву, здесь ей будет тесно. Она такая умница и такая талантливая, как никто в семье, — опыта у неё недостаточно, но как же она всё на лету схватывает! Лаврик — немножко шалопай, учится так себе, но в спорте — просто талант, уже ездил на соревнования в Ригу, там жил в гостинице, как взрослый. Он уже и машину гоняет. Теперь при Досаафе занимается на получение прав. Во вто-

рой четверти схватил две двойки, надо выправлять. А Майка сейчас уже, наверно, дома, на пианино играет (до неё в семье никто не играл). А в коридоре лежит Джульбарс на коврике. Последний год Павел Николаевич пристрастился сам его по утрам выводить, это и себе полезно. Теперь будет Лаврик выводить. Он любит — притравит немножко на прохожего, а потом: вы не пугайтесь, я его держу!

Но вся дружная образцовая семья Русановых, вся их налаженная жизнь, безупречная квартира — всё это за несколько дней отделилось от него и оказалось по ту сторону опухоли. Они живут и будут жить, как бы ни кончилось с отцом. Как бы они теперь ни волновались, ни заботились, ни плакали — опухоль задвигала его как стена, и по эту сторону оставался он один.

Мысли о доме не помогли, и Павел Николаевич постарался отвлечься государственными мыслями. В субботу должна открыться сессия Верховного Совета Союза. Ничего крупного как будто не ожидается, утвердят бюджет. Когда сегодня он уезжал из дому в больницу, начали передавать по радио большой доклад о тяжёлой промышленности. А здесь, в палате, даже радио нет, и в коридоре нет, хорошенькое дело! Надо хоть обеспечить «Правду» без перебоя. Сегодня — о тяжёлой промышленности, а вчера — постановление об увеличении производства продуктов животноводства. Да! Очень энергично развивается экономическая жизнь, и предстоят, конечно, крупные преобразования разных государственных и хозяйственных организаций.

И Павлу Николаевичу стало представляться, какие именно могут произойти реорганизации в масштабах республики и области. Эти реорганизации всегда

празднично волновали, на время отвлекали от будней работы, работники созванивались, встречались и обсуждали возможности. И в какую бы сторону реорганизации ни происходили, иногда в противоположные, никого никогда, в том числе и Павла Николаевича, не понижали, а только всегда повышали.

Но и этими мыслями не отвлёкся он и не оживился. Кольнуло под шеей — и опухоль, глухая, бесчувственная, вдвинулась и заслонила весь мир. И опять: бюджет, тяжёлая промышленность, животноводство и реорганизации — всё это осталось по *ту* сторону опухоли. А по *эту* — Павел Николаевич Русанов. Один.

В палате раздался приятный женский голосок. Хотя сегодня ничто не могло быть приятно Павлу Николаевичу, но этот голосок был просто лакомый:

— Температурку померим! — будто она обещала раздавать конфеты.

Русанов стянул полотенце с лица, чуть приподнялся и надел очки. Счастье какое! — это была уже не та унылая чёрная Мария, а плотненькая, подобранная, и не в косынке углом, а в шапочке на золотистых волосах, как носили доктора.

— Азовкин! А, Азовкин! — весело окликала она молодого человека у окна, стоя над его койкой. Он лежал ещё странней прежнего — наискось кровати, ничком, с подушкой под животом, упершись подбородком в матрас, как кладёт голову собака, и смотрел в прутья кровати, отчего получался как в клетке. По его обтянутому лицу переходили тени внутренних болей. Рука свисала до полу.

— Ну, подберитесь! — стыдила сестра. — Силы у вас есть. Возьмите термометр сами.

Он еле поднял руку от пола, как ведро из колодца, взял термометр. Так был он обессилен и так углубился в боль, что нельзя было поверить, что ему лет семнадцать, не больше.

— Зоя! — попросил он стонуще. — Дайте мне грелку.

— Вы — враг сам себе, — строго сказала Зоя. — Вам давали грелку, но вы её клали не на укол, а на живот.

— Но мне так легчает, — страдальчески настаивал он.

— Вы себе опухоль так отращиваете, вам объясняли. В онкологическом вообще грелки не положены, для вас специально доставали.

— Ну, я тогда колоть не дам.

Но Зоя уже не слушала и, постукивая пальчиком по пустой кровати Оглоеда, спросила:

— А где Костоглотов?

(Ну надо же! — как Павел Николаевич верно схватил! Костоглот — Оглоед — точно!)

— Курить пошёл, — отозвался Дёмка от двери. Он всё читал.

— Он у меня докурится! — проворчала Зоя.

Какие же славные бывают девушки! Павел Николаевич с удовольствием смотрел на её тугую затянутую кругловатость и чуть навывкате глаза — смотрел с бескорыстным уже любованием и чувствовал, что смягчается. Улыбаясь, она протянула ему термометр. Она стояла как раз со стороны опухоли, но ни бровью не дала понять, что ужасается или не видела таких никогда.

— А мне никакого лечения не прописано? — спросил Русанов.

— Пока нет, — извинилась она улыбкой.

— Но почему же? Где врачи?

— У них рабочий день кончился.

На Зою нельзя было сердиться, но кто-то же был виноват, что Русанова не лечили! И надо было действовать! Русанов презирал бездействие и слякотные характеры. И, когда Зоя пришла отбирать термометры, он спросил:

— А где у вас городской телефон? Как мне пройти?

В конце концов, можно было сейчас решиться и позвонить товарищу Остапенко! Простая мысль о телефоне вернула Павлу Николаевичу его привычный мир. И мужество. И он почувствовал себя снова борцом.

— Тридцать семь, — сказала Зоя с улыбкой и на новой температурной карточке, повешенной в изножье его кровати, поставила первую точку графика. — Телефон — в регистратуре. Но вы сейчас туда не пройдёте. Это — с другого парадного.

— Позвольте, девушка! — Павел Николаевич приподнялся и построжел. — Как может в клинике не быть телефона? Ну, а если сейчас что-нибудь случится? Вот со мной, например.

— Побежим — позвоним, — не испугалась Зоя.

— Ну, а если буран, дождь проливной?

Зоя уже перешла к соседу, старому узбеку, и продолжала его график.

— Днём и прямо ходим, а сейчас заперто.

Приятная-приятная, а дерзкая: не дослушав, уже перешла к казаху. Невольно повышая голос ей вослед, Павел Николаевич воскликнул:

— Так должен быть другой телефон! Не может быть, чтоб не было!

— Он есть, — ответила Зоя из присядки у кровати казаха. — Но в кабинете главврача.

— Ну, так в чём дело?

— Дёма... Тридцать шесть и восемь... А кабинет заперт. Низамутдин Бахрамович не любит...

И ушла.

В этом была логика. Конечно, неприятно, чтобы без тебя ходили в твой кабинет. Но в больнице как-то же надо придумать...

На мгновение болтнулся проводок к миру внешнему — и оборвался. И опять весь мир закрыла опухоль величиной с кулак, подставленный под челюсть.

Павел Николаевич достал зеркальце и посмотрел. Ух, как же её разносило! Посторонними глазами и то страшно на неё взглянуть — а своими?! Ведь такого не бывает! Вот кругом ни у кого же нет! Да за сорок пять лет жизни Павел Николаевич ни у кого не видел такого уродства!..

Не стал уж он определять — ещё выросла или нет, спрятал зеркало да из тумбочки немного достал, пожевал.

Двух самых грубых — Ефрема и Оглоеда — в палате не было, ушли. Азовкин у окна ещё по-новому извернулся, но не стонал. Остальные вели себя тихо, слышалось перелистывание страниц, некоторые легли спать. Оставалось и Русанову заснуть. Скоротать ночь, не думать — а уж утром дать взбучку врачам.

И он разделся, лёг под одеяло, накрыл голову полотенцем и попробовал заснуть.

Но в тишине особенно стало слышно и раздражало, как где-то шепчут и шепчут — и даже прямо в ухо Павлу Николаевичу. Он не выдержал, сорвал полотенце с лица, приподнялся, стараясь не сделать

больно шее, и обнаружил, что это шепчет его сосед-узбек — высохший, худенький, почти коричневый старик с клинышком маленькой чёрной бородки и в коричневой же потёртой тюбетейке.

Он лежал на спине, заложив руки за голову, смотрел в потолок и шептал — молитвы, что ли, старый дурак?

— Э! Аксакал! — погрозил ему пальцем Русанов. — Перестань! Мешаешь!

Аксакал смолк. Опять Русанов лёг и накрылся полотенцем. Но уснуть всё равно не мог. Теперь он понял, что успокоиться ему мешает режущий свет двух подпотолочных ламп — не матовых и плохо закрытых абажурами. Даже через полотенце ощущался этот свет. Павел Николаевич крикнул, опять на руках приподнялся от подушки, ладя, чтоб не кольнула опухоль.

Прошка стоял у своей кровати близ выключателя и начинал раздеваться.

— Молодой человек! Потушите-ка свет! — распорядился Павел Николаевич.

— Та ще... лекарства нэ прынэслы... — замялся Прошка, но приподнял руку к выключателю.

— Что значит — «потушите»? — зарычал сзади Русанова Оглоед. — Укоротитесь, вы тут не один.

Павел Николаевич сел как следует, надел очки и, поберегая опухоль, визжа сеткой, обернулся:

— А вы *повежливей* можете разговаривать?

Грубиян скорчил кривоватую рожу и ответил низким голосом:

— Не оттягивайте, я не у вас в аппарате.

Павел Николаевич метнул в него сжигающим взглядом, но на Оглоеда это не подействовало ничуть.

— Хорошо, а зачем нужен свет? — вступил Русанов в мирные переговоры.

— В заднем проходе ковырять, — сгрубил Костоглов.

Павлу Николаевичу стало трудно дышать, хотя, кажется, уж он обдышался в палате. Этого нахала надо было в двадцать минут выписать из больницы и отправить на работу! Но в руках не было никаких конкретных мер воздействия.

— Так если почитать или что другое — можно выйти в коридор, — справедливо указал Павел Николаевич. — Почему вы присваиваете себе право решать за всех? Тут — разные больные, и надо делать различия...

— Сделают, — оклычился тот. — Вам некролог напишут, член с такого-то года, а нас — ногами вперёд.

Такого необузданного неподчинения, такого неконтролируемого своеволия Павел Николаевич никогда не встречал, не помнил. И он даже терялся — что можно противопоставить? Не жаловаться же этой девчонке. Приходилось пока самым достойным образом прекратить разговор. Павел Николаевич снял очки, осторожно лёг и накрылся полотенцем.

Его разрывало от негодования и тоски, что он поддался и лёг в эту клинику. Но не поздно будет завтра же и выписаться.

На часах его было начало девятого. Что ж, он решил теперь всё терпеть. Когда-нибудь же они успокоятся.

Но опять началась ходьба и тряска между кроватями — это, конечно, Ефрем вернулся. Старые половицы комнаты отзывались на его шаги и передавались Русанову через койку и подушку. Но уж решил Павел Николаевич замечания ему не делать, терпеть.

Сколько ещё в нашем населении неискорённого хамства! И как его с этим грузом вести в новое общество!

Бесконечно тянулся вечер! Начала приходить сестра — один раз, второй, третий, четвёртый, одному несла микстуру, другому порошок, третьего и четвёртого колола. Азовкин вскрикивал при уколе, опять клянчил грелку, чтоб рассасывалось. Ефрем продолжал топтать туда-сюда, не находил покоя. Ахмаджан разговаривал с Прошкой, и каждый со своей кровати. Как будто все только сейчас и оживали по-настоящему, как будто ничто их не заботило и нечего было лечить. Даже Дёмка не ложился спать, а пришёл и сел на койку Костоглотова, и тут, над самым ухом Павла Николаевича, они бубнили.

— Побольше стараюсь читать, — говорил Дёмка, — пока время есть. В университет поступить охота.

— Это хорошо. Только учти: образование ума не прибавляет.

(Чему учит ребёнка, Оглоед!)

— Как не прибавляет?!

— Так вот.

— А что ж прибавляет?

— Ж-жизнь.

Дёмка помолчал, ответил:

— Я не согласен.

— У нас в части комиссар такой был, Пашкин, он всегда говорил: образование ума не прибавляет. И звание — не прибавляет. Иному добавят звёздочку, он думает — и ума добавилось. Нет.

— Так что ж тогда — учиться не надо? Я не согласен.

— Почему не надо? Учись. Только для себя помни, что ум — не в этом.

— А в чём же ум?

— В чём ум? Глазам своим верь, а ушам не верь.

На какой же ты факультет хочешь?

— Да вот не решил. На исторический хочется и на литературный хочется.

— А на технический?

— Не-а.

— Странно. Это в наше время так было. А сейчас ребята все технику любят. А ты — нет?

— Меня... общественная жизнь очень разжигает.

— Общественная?.. Ох, Дёмка, с техникой — спокойней жить. Учись лучше приёмники собирать.

— А чего мне — покойней!.. Сейчас вот если месяца два тут полежу — надо за девятый класс подогнать, за второе полугодие.

— А учебники?

— Да два у меня есть. Стереометрия очень трудная.

— Стереометрия?! А ну, тащи сюда!

Слышно было, как пацан пошёл и вернулся.

— Так, так, так... Стереометрия Киселёва, старушка... Та же самая... Прямая и плоскость, параллельные между собой... Если прямая параллельна какой-нибудь прямой, расположенной в плоскости, то она параллельна и самой плоскости... Чёрт возьми, вот книжечка, Дёмка! Вот так бы все писали! Толщины никакой, да? А сколько тут напихано!

— Полтора года по ней учат.

— И я по ней учился. Здорово знал!

— А когда?

— Сейчас тебе скажу. Тоже вот так девятый класс, со второго полугодия... значит, в тридцать седьмом и в тридцать восьмом. Чудно в руках держать. Я геометрию больше всего любил.

— А потом?

— Что потом?

— После школы.

— После школы я на замечательное отделение по-  
ступил — геофизическое.

— Это где?

— Там же, в Ленинграде.

— И что?

— Первый курс кончил, а в сентябре тридцать  
девятого вышел указ брать в армию с девятнадцати,  
и меня загребли.

— А потом?

— Потом действительную служил.

— А потом?

— А потом — не знаешь, что было? Война.

— Вы — офицер были?

— Не, сержант.

— А почему?

— А потому что если все в генералы пойдут — не-  
кому будет войну выигрывать... Если плоскость про-  
ходит через прямую, параллельную другой плоскости,  
и пересекает эту плоскость, то линия пересечения...  
Слушай, Дёмка! Давай я с тобой каждый день буду  
стереометрией заниматься? Ох, двинем! Хочешь?

— Хочу.

(Этого ещё не хватало, над ухом.)

— Буду уроки тебе задавать.

— Задавай.

— А то, правда, время пропадает. Прямо сейчас  
и начнём. Разберём вот эти три аксиомы. Аксиомы  
эти, учти, на вид простенькие, но они потом в ка-  
ждой теореме скрытно будут содержаться, и ты дол-  
жен видеть — где. Вот первая: если две точки прямой

принадлежат плоскости, то и каждая точка этой прямой принадлежит ей. В чём тут смысл? Вот пусть эта книжка будет плоскость, а карандаш — прямая, так? Теперь попробуй расположить...

Заладили и долго ещё гудели об аксиомах и следствиях. Но Павел Николаевич решил терпеть, демонстративно повёрнутый к ним спиной. Наконец замолчали и разошлись. С двойным снотворным заснул и умолк Азовкин. Так тут начал кашлять аксакал, к которому Павел Николаевич повёрнут был лицом. И свет уже потушили, а он, проклятый, кашлял и кашлял, да так противно, подолгу, со свистом, что, казалось, задохнётся.

Повернулся Павел Николаевич спиной и к нему. Он снял полотенце с головы, но настоящей темноты всё равно не было: падал свет из коридора, там слышался шум, хождение, гремели плевательницами и вёдрами.

Не спалось. Давила опухоль. Такая счастливая, такая полезная жизнь была на обрыве. Было очень жалко себя. Одно маленького толчка не хватало, чтоб выступили слёзы.

И толчок этот не упустил добавить Ефрем. Он и в темноте не унялся и рассказывал Ахмаджану по соседству идиотскую сказку:

— А зачем человеку жить сто лет? И не надо. Это дело было вот как. Раздавал, ну, Аллах жизнь и всем зверям давал по пятьдесят лет, хватит. А человек пришёл последний, и у Аллаха оставалось только двадцать пять.

— Четвёртая, значит? — спросил Ахмаджан.

— Ну да. И стал обижаться человек: мало! Аллах говорит: хватит. А человек: мало! Ну, тогда, мол, пойдёшь сам спроси, может, у кого лишнее, отдаст. Пошёл

человек, встречает лошадь. «Слушай, — говорит, — мне жизни мало. Уступи от себя». — «Ну, на, возьми двадцать пять». Пошёл дальше, навстречу собака. «Слушай, собака, уступи жизни!» — «Да возьми двадцать пять!» Пошёл дальше. Обезьяна. Выпросил и у неё двадцать пять. Вернулся к Аллаху. Тот и говорит: «Как хочешь, сам ты решил. Первые двадцать пять лет будешь жить как человек. Вторые двадцать пять будешь работать как лошадь. Третьи двадцать пять будешь гавкать как собака. И ещё двадцать пять над тобой, как над обезьяной, смеяться будут...»

### 3

Хотя Зоя была толкова, проворна и очень быстро сновала по своему этажу от стола к кроватям и снова к столу, она увидела, что не успеваает выполнить к отбою всех назначений. Тогда она подогнала, чтоб кончить и погасить в мужской палате и в малой женской. В большой же женской — огромной, где стояло больше тридцати коек, — женщины никогда не утоманивались вовремя, гаши им свет или не гаши. Многие там лежали подолгу, утомились от больницы, сон у них был плох, душно, постоянно шёл спор — держать ли балконную дверь открытой или закрытой. А было и несколько изощрённых любительниц поговорить из угла в угол. До полуночи и до часу ночи тут всё обсуждали то цены, то продукты, то мебель, то детей, то мужей, то соседок — и до самых бесстыжих разговоров.

А сегодня там ещё мыла пол санитарка Нэля — крутозадая горластая девка с большими бровями и большими губами. Она давно уже начала, но никак

не могла кончить, встречая в каждый разговор. Между тем ждал своей ванночки Сибгатов, чья кровать стояла в вестибюле перед входом в мужскую палату. Из-за этих вечерних ванночек, а также стесняясь дурного запаха от своей спины, Сибгатов добровольно оставался лежать в вестибюле, хотя он был здесь издавнее всех старожиллов — уж будто и не больной, а на постоянной службе.

Быстро мелькая по женской палате, Зоя сделала Нэле одно замечание и второе, но Нэля только огрызнулась, а подвигалась медленно. Она была не моложе Зои и считала обидой подчиняться девчёнке. Зоя пришла сегодня на работу в праздничном настроении, но это сопротивление санитарки раздражало её. Вообще Зоя считала, что всякий человек имеет право на свою долю свободы и, приходя на работу, тоже необязательно должен выложиться до изнемоги, но где-то была разумная мера, а тем более находясь при больных.

Наконец и Зоя всё раздала и кончила, и Нэля дотёрла пол, потушили свет у женщин, потушили и в вестибюле верхний, был уже двенадцатый час, когда Нэля развела тёплый раствор на первом этаже и оттуда принесла Сибгатову в его постоянном тазике.

— О-о-ой, уморилась, — громко зевнула она. — Закачусь я минуток на триста. Слушай, больной, ты ведь целый час будешь сидеть, тебя не дождёшься. Ты потом сам снеси тазик вниз, вылей, а?

(В этом крепком старом здании с просторными вестибюлями не было наверху слива.)

Каким Шараф Сибгатов был раньше — уж теперь нельзя было догадаться, не по чему судить: страдание его было такое долгое, что от прежней жизни уже как бы ничего и не осталось. Но после трёх лет непрерыв-

ной гнетучей болезни этот молодой татарин был самый кроткий, самый вежливый человек во всей клинике. Он часто слабо-слабо улыбался, как бы извиняясь за долгие хлопоты с собой. За свои четырёх- и шестимесячные лежанья он тут знал всех врачей, сестёр и санитарок как своих, и они его знали. А Нэля была новенькая, несколько недель.

— Мне тяжело будет, — тихо возразил Сибгатов. — Если куда отлить, я бы по частям отнёс.

Но Зоин стол был близко, она слышала и прискочила:

— Как тебе не стыдно! Ему спину искривлять нельзя, так он тебе таз понесёт, да?

Она это всё как бы выкрикнула, но полушёпотом, никому, кроме них троих, не слышно. А Нэля спокойно отозвалась, но на весь второй этаж:

— А чего стыдно? Я тоже как сучка затомилась.

— Ты на дежурстве! Тебе деньги платят! — ещё приглушённой возмущалась Зоя.

— Хой! Платят! Разве эт деньги? Я на текстильном и то больше заработаю.

— Тш-ш! Тише ты можешь?

— О-о-ой, — вздохнула-простонала на весь вестибюль ширококудрая Нэля. — Милая подружка подушка! Спать-то как хочется-а... Ту ночь с шоферами прогуляла... Ну ладно, больной, ты тазик потом подсунь под кровать, я утром вынесу.

Глубоко-затяжно зевнув, не покрывая рта, в конце зевка сказала Зое:

— Тут я, в заседаниях буду, на диванчике.

И, не дожидаясь разрешения, пошла к угловой двери — там была с мягкой мебелью комната врачебных заседаний и пятиминуток.

Она оставляла ещё многою недоделанную работу, невычищенные плевательницы, и в вестибюле можно было помыть пол, но Зоя посмотрела ей в широкую спину и сдержалась. Не так давно и сама она работала, но начинала понимать этот досадный принцип: кто не тянет, с того и не спросишь, а кто тянет — и за двоих потянет. Завтра с утра заступит Елизавета Анатольевна, она вычистит и вымоет за Нэлю и за себя.

Теперь, когда Сибгатова оставили одного, он обнажил крестец, в неудобном положении опустился в тазик на полу около кровати — и так сидел, очень тихо. Ото всякого неосторожного движения ему было больно в кости, но ещё бывало паляще больно и от касания к повреждённому месту, даже от постоянного касания бельём. Что там у него сзади, он не видел никогда, только иногда нащупывал пальцами. В позапрошлом году в эту клинику его внесли на носилках — он не мог вставать и ногами двигать. Его смотрели тогда многие доктора, но лечила всё время Людмила Афанасьевна. И за четыре месяца боль совсем прошла! — он свободно ходил, наклонялся и ни на что не жаловался. При выписке он руки целовал Людмиле Афанасьевне, а она его только предупреждала: «Будь осторожен, Шараф! Не прыгай, не ударяйся!» Но на такую работу его не взяли, а пришлось опять экспедитором. Экспедитору — как не прыгать из кузова на землю? Как не помочь грузчику и шофёру? Но всё было ничего до одного случая — покатила с машины бочка и ударила Шарафа как раз в больное место. И на месте удара загноилась рана. Она не заживала. И с тех пор Сибгатов стал как цепью прикован к раковому диспансеру.

С непроходящим чувством досады Зоя села за стол и ещё раз проверяла, все ли процедуры исполнила,

дочёркивая расплывающимися чернильными чёточками по дурной бумаге уже расплывшиеся чернильные строки. Писать рапорт было бесполезно. Да и не в натуре Зои. Надо бы самой справиться, но именно с Нэлей она справиться не умела. Поспать — ничего плохого нет. При хорошей санитарке Зоя и сама бы полночи поспала. А теперь надо сидеть.

Она смотрела в свою бумажку, но слышала, как подошёл мужчина и стал рядом. Зоя подняла голову. Стоял Костоготов — неукладистый, с недочёсанной угольной головой, большие руки почти не влезали в боковые маленькие карманчики больничной куртки.

— Давно пора спать, — вменила Зоя. — Что расхаживаете?

— Добрый вечер, Зоенька, — выговорил Костоготов как мог мягче, даже нарастяг.

— Спокойной ночи, — летуче улыбнулась она. — Добрый вечер был, когда я за вами с термометром бегала.

— То на службе было, не укоряйте. А сейчас я к вам в гости пришёл.

— Вот как? — (Это уж там само получалось, что подбрасывались ресницы или широко открывались глаза, она этого не обдумывала.) — Почему вы думаете, что я принимаю гостей?

— А потому что по ночным дежурствам вы всегда зубрили, а сегодня учебников не вижу. Сдали последний?

— Наблюдательны. Сдала.

— И что получили? Впрочем, это неважно.

— Впрочем, всё-таки четвёрку. А почему неважно?

— Я подумал: может быть, тройку, и вам неприятно говорить. И теперь каникулы?

Она мигнула с весёлым выражением лёгкости. Мигнула — и прониклась: чего она, в самом деле, расстроилась? Две недели каникул, блаженство! Кроме клиники — больше никуда! Сколько свободного времени! И на дежурствах — можно книжечку почитать, можно вот поболтать.

— Значит, я правильно пришёл в гости?

— Ну, садитесь.

— Скажите, Зоя, но ведь каникулы, если я не забыл, раньше начинались 25 января.

— Так мы осенью на хлопке были. Это каждый год.

— И сколько ж вам лет осталось учиться?

— Полтора.

— А куда вас могут назначить?

Она пожала кругленькими плечами:

— Родина необъятна.

Глаза её с выкатком, даже когда она смотрела спокойно, как будто под веками не помещались, просились наружу.

— Но здесь не оставят?

— Не-ет, конечно.

— И как же вы семью бросите?

— Какую семью? У меня бабушка одна. Бабушке — с собой.

— А папа-мама?

Зоя вздохнула.

— Мама моя умерла.

Костоглов посмотрел на неё и об отце не спросил.

— А вообще, вы — здешняя?

— Нет, из Смоленска.

— Во-о! И давно оттуда?

— В эвакуацию, когда ж.

— Это вам было... лет девять?

— Ага. Два класса там кончила... А потом здесь с бабушкой застряли.

Зоя потянулась к большой хозяйственной ярко-оранжевой сумке на полу у стены, достала оттуда зеркальце, сняла врачебную шапочку, чуть включила стянутые шапочкой волосы и начесала из них редкую, лёгкой дугой подстриженную золотенькую чёлку.

Золотой отблик отразился и на жёсткое лицо Костоглотова. Он смягчился и следил за ней с удовольствием.

— А ваша где бабушка? — пошутила Зоя, кончая с зеркальцем.

— Моя бабушка, — вполне серьёзно принял Костоглотов, — и мама моя... умерли в блокаду.

— Ленинградскую?

— У-гм. И сестрёнку снарядом убило. Тоже была медсестрой. Козявка ещё.

— Да-а, — вздохнула Зоя. — Сколько погибло в блокаду! Проклятый Гитлер!

Костоглотов усмехнулся:

— Что Гитлер — проклятый, это не требует повторных доказательств. Но всё же ленинградскую блокаду я на него одного не списываю.

— Как?! Почему?

— Ну, как! Гитлер и шёл нас уничтожать. Неужели ждали, что он приотворит калиточку и предложит блокадным: выходите по одному, не толпитесь? Он воевал, он враг. А в блокаде виноват некто другой.

— Кто же?? — прошептала поражённая Зоя. Ничего подобного она не слышала и не предполагала.

Костоглотов собрал чёрные брови.

— Ну, скажем, тот или те, кто были готовы к войне, даже если бы с Гитлером объединились Англия, Франция и Америка. Кто получал зарплату десятки

лет и предусмотрел угловое положение Ленинграда и его оборону. Кто оценил степень будущих бомбардировок и догадался спрятать продовольственные склады под землю. Они-то и задушили мою мать — вместе с Гитлером.

Просто это было, но как-то очень уж ново.

Сибгатов тихо сидел в своей ванночке позади них, в углу.

— Но тогда?.. тогда их надо... судить? — шёпотом предположила Зоя.

— Не знаю. — Костоготов скривил губы, и без того угловатые. — Не знаю.

Зоя не надевала больше шапочки. Верхняя пуговица её халата была расстёгнута, и виднелся ворот платья иззолота-серый.

— Зоенька. А ведь я к вам отчасти и по делу.

— Ах, вот как! — прыгнули её ресницы. — Тогда, пожалуйста, в дневное дежурство. А сейчас — спать! Вы просились — в гости?

— Я — и в гости. Но пока вы ещё не испортились, не стали окончательным врачом — протяните мне человеческую руку.

— А врачи не протягивают?

— Ну, у них и рука не такая... Да и не протягивают. Зоенька, я всю жизнь отличался тем, что не любил быть мартышкой. Меня здесь лечат, но ничего не объясняют. Я так не могу. Я у вас видел книгу — «Патологическая анатомия». Так ведь?

— Так.

— Это и есть об опухолях, да?

— Да.

— Так вот будьте человеком — принесите мне её! Я должен её полистать и кое-что сообразить. Для себя.

Зоя скруглила губы и покачала головой:

— Но больным читать медицинские книги противопоказано. Даже вот когда мы, студенты, изучаем какую-нибудь болезнь, нам всегда кажется...

— Это кому-нибудь другому противопоказано, но не мне! — прихлопнул Костоглотов по столу большой лапой. — Я уже в жизни пуган-перепуган и отпугался. Мне в областной больнице хирург-кореец, который диагноз ставил, вот под Новый год, тоже объяснять не хотел, а я ему — «говорите!». «У нас, мол, так не положено!» — «Говорите, я отвечаю! Я семейными делами должен распорядиться!» Ну, и он мне лепанул: «Три недели проживёте, больше не ручаюсь!»

— Какое ж он имел право!..

— Молодец! Человек! Я ему руку пожал. Я знать должен! Да если я полгода до этого мучился, а последний месяц не мог уже ни лежать, ни сидеть, ни стоять, чтобы не болело, в сутки спал несколько минут, — так я уже что-то ведь передумал! За эту осень я на себе узнал, что человек может переступить черту смерти, ещё когда тело его не умерло. Ещё что-то там в тебе кровообращается или пищеварится — а ты уже, психологически, прошёл всю подготовку к смерти. И пережил саму смерть. Всё, что видишь вокруг, видишь уже как бы из гроба, бесстрашно. Хотя ты не причислял себя к христианам, и даже иногда напротив, а тут вдруг замечаешь, что ты таки уже простил всем обижавшим тебя и не имеешь зла к гнавшим тебя. Тебе уже просто всё и все безразличны, ничего не порываешься исправить, ничего не жаль. Я бы даже сказал: очень равновесное состояние, естественное. Теперь меня вывели из него, но я не знаю — радоваться ли. Вернутся все страсти — и плохие, и хорошие.

— Да уж чего задаётесь! Ещё бы не радоваться! Когда вы сюда поступили... Сколько это дней?..

— Двенадцать.

— И вот тут, в вестибюле, на диванчике крутились — на вас смотреть было страшно, лицо покойническое, не ели ничего, температура тридцать восемь и утром, и вечером — а сейчас? Ходите в гости... Это же чудо — чтоб человек за двенадцать дней так ожил! У нас так редко бывает.

В самом деле — тогда на лице его были как зубилом прорублены глубокие, серые, частые морщины от постоянного напряжения. А сейчас их стало куда меньше и они посветлели.

— Всё счастье в том, что оказалось — я хорошо переношу рентген.

— Это далеко не часто! Это удача! — с тёплым сердцем сказала Зоя.

Костогловтов усмехнулся:

— Жизнь моя так была бедна удачами, что в этой рентгеновской есть своя справедливость. Мне и сны сейчас стали сниться какие-то расплывчато-приятные. Я думаю — это признак выздоровления.

— Вполне допускаю.

— Так тем более мне надо понять и разобраться! Я хочу понять, в чём состоит метод лечения, какие перспективы, какие осложнения. Мне настолько полегчало, что, может, нужно лечение остановить? Это надо понять. Ни Людмила Афанасьевна, ни Вера Корнильевна мне ничего не объясняют, лечат, как обезьяну. Принесите книжечку, Зоя, прошу вас! Я вас не продам.

Он говорил так настоятельно, что оживился.

Зоя в колебании взялась за ручку ящика в столе.

— Она у вас здесь? — догадался Костоготов. — Зоенька, дайте! — И уже руку вытянул. — Когда вы следующий раз дежурите?

— В воскресенье днём.

— И я вам отдам! Всё! Договорились!

Какая она славная была, незаносчивая, с этой чёлкой золотенькой, с этими чуть выкаченными глазками.

Он только себя не видел, как во всех направлениях были закручены угловатые вихры на его собственной голове, отлёжанные так на подушке, а из-под курточки, недостёгнутой до шеи, с больничною простотой высовывался уголок казённой бязевой сорочки.

— Так-так-так, — листал он книгу и лез в оглавление. — Очень хорошо. Тут я всё найду. Вот спасибо. А то, чёрт его знает, ещё, может, перелечат. Им ведь только графу заполнить. Я ещё, может, оторвусь. И хорошая аптека убавит века.

— Ну вот! — всплеснула Зоя ладонями. — Стоило вам давать! А ну-ка назад!

И она потянула книгу одной рукой, потом двумя. Но он легко удерживал.

— Порвём библиотечную! Отдайте!

Круглые плотные плечи её и круглые плотные небольшие руки были как облитые в натянувшемся халате. Шея была ни худа, ни толста, ни коротка, ни вытянута, очень соразмерна.

Перетягивая книгу, они сблизились и смотрели в упор. Его нескладное лицо распустилось в улыбке. И шрам уже не казался таким страшным, да он и было побледневший, давний. Свободной рукой мягко отнимая её пальцы от книги, Костоготов шёпотом уговаривал:

— Зоенька. Ну вы же не за невежество, вы же за просвещение. Как можно мешать людям развиваться? Я пошутил, я никуда не оторвусь.

Напористым шёпотом отвечала и она:

— Да вы уж потому недостойны читать, что — как вы себя запустили? Почему вы не приехали раньше? Почему надо было приезжать уже мертвецом?

— Э-э-эх, — вздохнул Костоглов уже полувслух. — Транспорта не было.

— Да что это за место такое — транспорта не было? Ну, самолётом! Да почему надо было допустить до последнего? Почему заранее не переехать в более культурное место? Какой-нибудь врач, фельдшер у вас там был?

Она сняла пальцы с книги.

— Врач есть, гинеколог. Даже два...

— Два гинеколога?! — подавилась Зоя. — Так у вас там одни женщины?

— Наоборот, женщин не хватает. Гинеколога два, а других врачей нет. И лаборатории нет. Крови не могли взять на исследование. У меня РОЭ было, оказывается, шестьдесят, и никто не знал.

— Кошмар! И опять берётесь решать — лечиться или нет? Себя не жалеете — хоть бы близких своих пожалели, детей!

— Детей? — будто очнулся Костоглов, будто вся эта весёлая возня с книгой была во сне, а вот опять он возвращался в своё жёсткое лицо и медленную речь. — У меня никаких детей нет.

— А жена — не человек?

Он стал ещё медленней:

— И жены нет.